



## ПОВЕСТЬ О ЮЛЕ

...Март, первые дни весны, удивительный март 1947 года! Меня срочно вызвали в Москву, я лечу из Силезии, где уже первая капель, в неоттапливаемом самолете, как в брюхе замороженной рыбы, зуб на зуб не попадает, а в душе я ликую, потому что завтра открывается Первое! Всесоюзное! Совецание молодых писателей! Я предвкушаю встречу с ровесниками, однополчанами по жизни и стихам, два или три человека из них мне знакомы лично, многие по строчкам, но, конечно же, будут и прекрасные неожиданные узнавания и знакомства.

Почти два года, как мы отпраздновали, отгоревали Победу, а все-таки еще спрашиваешь себя: неужто живой? «Война — жесточе нету слова... в тоске и славе этих лет. И на устах у нас иного еще не может быть и нет» (А. Твар-

довский). Мы — все те, что встретимся на совещании, — уже заочно ощутили себя как бы представителями поколения, его поэтами, в каких бы жанрах ни выступали, его глашатаями. Все тяжкое позади, верится только в светлое, будущее кажется ослепительным. Мы даже представить себе не можем, что через недолгое время, спустя год или два, начнутся «проработки», а потом, глядишь, через сорок лет иные возвестят, что нас как поколения вообще нет, мы «растоптаны войной», не знаем «окопной правды», а то и вовсе умирали и мыкались по госпиталям чуть ли не понарошку, как бы не взаправду. И от лица всех вас, живых и мертвых, поэту Юлии Друниной с трибун двух писательских съездов, в «Литгазете» и журнале «Знамя» придется громко и нервно выступать в защиту «детей сорок первого года». Именно ей, потому что, как никто из нас, Юля высоко и неуклонно несет знамя фронтового поколения.

А пока я еще только лечу в Москву — как выяснится, чуть ли не единственный в армейских погонах, — предвкушаю встречи и думаю

о нашей общей судьбе. Милые вы мои, дорогие мои «лицеисты», мальчики и девочки Великой Отечественной! Не знаю, весомы ли наши таланты, бессмертны ли строчки, но есть в нас великое чувство единства, дружества, верности. Я сравнил бы его с птицей Феникс, воскресшей из пепла, но оно никогда не умирало, и нет в мире того огня, что мог бы его испепелить. Конечно, мы все в каком-то смысле романтики, мы под ржавыми от ожогов и крови гимнастерками ухитрились сохранить в себе нечто, решусь произнести, рыцарское. Мы, наверное, не бытописатели (если страшное бытие войны можно назвать бытом), для нас был как бы первичен дух и вторична материя. Много позже я напишу: «Солдаты не ангелы, они матерятся и ползают по-пластунски, но... вонючая грязь облепляет локти, колени, щеки, только не сердца». Готов и сегодня подписаться под этими словами, и пусть сытые, не повидавшие войны, более молодые люди воспользуются удобной мишенью, дабы бросить камень. Нет, в ту пору, говоря о солдатах —

*Мы никогда не разрешили бы  
Упомянуть — хоть в кратком слове —  
О том, что их шинели вишивые  
И сабли в ржавых пятнах крови.*

— Евг. Долматовский

Не удивляйтесь, что я так много рассказываю и размышляю о всех нас, прежде чем перейти непосредственно к Юлии Друниной. Не зная времени и среды, которые сформировали поэта, читателю затруднительно в полной мере проникнуть в его творчество. А Друнина, как я уже говорил, несомненно, сегодняшней знаменосец поколения.

Еще несколько слов о поэтах первого послевоенного слета. Не поймите меня так, что мы предпочитали «высокие слова» — «оконной правде». В книге, что сейчас перед вами, вы увидите самые жестокие и правдивые реалии войны. Но вспомните виденные наяву, с экрана, вычитанные из книг празднества Победы и возвращения. Что запомнилось прежде всего? Конечно же, ликование! Вы запоздало ужаснетесь тому, какой ценой за него заплачено. Так вот, мы знали, на себе испытали, какова цена: разве

что единицы вернулись без единой царапины, а уж из солдат сорок первого года если кто и дошел, то с нашивками за ранения — к примеру, та же Юлия Друнина. И первой нашей задачей — для себя, для собственной души, не по приказу, не из соображения насчет цензуры или карьеры — было показать, *что* привело нас к Победе. Произнесу три слова с заглавных букв: Любовь, Мужество и Вера.

Итак, самолет приземляется, вот я вхожу в Дом пионеров, в старинный особняк на улице Стопани. Объятия, знакомства, хлопанье по плечу, несусветный гам. Господи, какие это были драгоценные ребята — Алеша Недогонов, Семен Гудзенко, Вероника Тушнова, Сережа Орлов, Миша Луконин, Иосиф Нонешвили, Владос Мозурюнас, Марк Максимов, Сергей Наровчатов, Михаил Львов!.. Нет, все это горестно, горестно, они отшумели, ушли, обниму живых: Михаила Дудина, Николая Старшинова, Мустая Карима, Василия Субботина, Сильву Капутикян, Расула Гамзатова, Якова Козловского, Платона Воронько... Список живых и мертвых

куда как неполон (я не назвал прозаиков: Сергея Антонова, Олесья Гончара, Юрия Нагибина и многих других), — и пусть вы уже устали от перечисления имен, но разве мыслима без них советская литература, ее сегодняшний день?

Вдруг я увидел беленькую — золотистую — девочку. Она держалась чуть отстраненно, ее вроде бы оглушали громкоголосые размашистые парни. Руку подала неуверенно, лопаточкой, или, точнее, дощечкой, сказала: «Юля». Я пригляделся: наша, фронтовичка! И в одежде что-то из армейского — выстиранного, перешитого, — и рука потому неуверенная, что больше привыкла козырять (у меня тоже после войны пальцы то и дело дергались к виску). Санитарочка или связистка, никак не из штабной обслуги. Но на вид уж больно молоденькая, вряд ли в досталь хватила фронтового лиха.

Даю слово, я вздрогнул, когда услышал стихотворение всего в четыре строчки:

*Я только раз видала рукопашный.  
Раз — наяву и сотни раз во сне.  
Кто говорит, что на войне не страшно,  
Тот ничего не знает о войне.*

Вряд ли кто-нибудь из нас, парней, осмелился бы и сумел так сказать всю правду — открыто, мужественно и беззащитно.

Жила-была девочка. В Москве, в учительской семье, в нормальной для тех лет коммунальной квартире. Понятно, что читать стала рано — от Лидии Чарской (цитирую из Литературной энциклопедии: «соч<инения> Ч. характеризуются сентиментальностью, аффектированностью, слащавостью») до «Одиссеи» Гомера. Писала стихи, которые однажды даже напечатала «Учительская газета» и — невероятно для дней сегодняшних! — о стихотворении был хвалебный абзац в статье.

Время было, скажем так, странное. Рассекреченные сегодня «белые пятна» истории оказываются зловещего цвета. Но — полет Чкалова, полярная троица Папанина, Магнитка и Днепрогэс, Халхин-Гол и Испания... В семьях, особенно среди интеллигенции, где родители о многом если не знали, то догадывались, детей усиленно оберегали от изнаночных сторон жизни. Отцы и матери всеми силами старались, чтоб детям было легко и светло. Не берусь сей-

час судить, верно или неверно поступали старшие, только, как говорится, такова была се ля ви. И подрастало поколение, о котором Юлия Друнина говорит: «Вполне закономерно, что в трагическом сорок первом оно стало поколением добровольцев...»

22 июня, только получив паспорт, девочка прибежала в райвоенкомат.

Дальше перечислю конспективно, подробности изложит вам в книгах она сама.

Сандружинница — сначала в Москве, потом на строительстве окопов и противотанковых рвов. Первая бомбежка, первый минометный налет, ошеломление (а раненых все-таки перевязывала), беспорядочный и страшный «драп» с нашими отступающими солдатами. А дальше — санитарка, одна на весь пехотный батальон, окружение и выход из него в ближнем Подмосковье.

Это были тяжкие, бестолковые, мучительные дни середины октября. Я хорошо их помню, потому что именно тогда и я выходил из окружения, и на рассвете самого критического 16-го числа оказался в Москве. Утром радио

сообщило, что гитлеровские войска прорвали нашу оборону под Можайском и Волоколамском. А дальше только играла музыка, кратко сообщались боевые эпизоды, и сводки Совинформбюро становились все невнятнее. Когда мой пригородный поезд остановился у Рижского вокзала, Юля вместе с отцом уезжала в эшелоне на восток с Ярославского.

Друнины поселились «в глухом таежном поселке Заводоуковке». Теперь это город Заводоуковск, там есть довольно солидные предприятия, и все равно, в общем-то, глухомань, особенно если сравнить с ближней Тюменью.

Вот написал я «Друнины» и подумал: а все-таки в русской речи есть какие-то загадочные фонетические или топонимические сближения. Вот хотя бы фамилия поэтессы. Ясно слышится в ней слово «друг», и ведь поистине друга такой надежности, постоянства, готовности выручить, прийти на помощь встретишь не часто. То-то друзья детства и ранней юности именовали подружку не «Юля», а — «Друня».

Все-таки из тюменской глухомани, преодолев труднейшие препятствия, через воен-

ные курсы на Дальнем Востоке, похоронив в Заводоуковке отца, чуток послужив писарем в Главсанупре Военно-воздушных сил, Юля *пробилась* на фронт. Я думаю, у нее было ощущение, что фронт без нее неполный. Это лишь на первый взгляд, и то через десятилетия, выглядит немного смешно, а на самом деле нам всем (я говорю о поэтах поколения) так казалось. «Два с лишним года понадобилось мне, чтоб вернуться в дорогую мою пехоту», — пишет Юлия Друнина.

В любимой своей пехоте она снова стала... напишу по-старинному: сестрой милосердия. Сейчас как бы воскресло это слово — «милосердие»; по-моему, мы даже успели его поистрепать. Впрочем, в мирные дни милосердным быть не так уж сложно. На фронте, на передовой, под немилосердным огнем врага это куда как труднее.

Получены — почти подряд — медаль «За отвагу», самая что ни на есть солдатская, и — ранение, «осколок застрял рядом с сонной артерией». Непригодна к военной службе «с исключением с учета». Впрочем, нет худа без добра — всю

записались стихи, даже в Литературный институт попыталась поступить, однако тут-то у нашего солдатика дело и сорвалось. Куда теперь? Домой. А где дом? На фронте. Помните, как Василий Теркин добирается в свою часть — «Вот и дома, у огня».

Юлия Друнина вернулась туда с повышением — старшина медслужбы. А служба все та же — сестра милосердия. Только не в пехоте, а у самоходчиков. И снова «негоден к несению военной службы», потому что сказала сначала показавшаяся пустячной контузия.

Литературный институт Юля взяла приступом. Просто вошла и села в аудитории. А потом, как она пишет, «прижилась» и сдала сессию. На войне, как на войне.

Друнина заканчивает свои страницы автобиографии «С тех вершин» на той вехе, с которой я начал свою повесть — 1-е Всесоюзное совещание молодых писателей. Вскоре после него мы с ней в один день были приняты в наш Союз.

Так что о Юле как о человеке, о личности мне дальше рассказывать почти нечего, вы все

сами прочтете в стихотворных и прозаических строчках. Надо поговорить о *поэте* Юлии Друниной, но мы сделаем это чуть позже.

А пока — несколько слов о ее спутнике, бережно и нежно поддерживавшем Юлю на поворотах и ухабах многие годы совместного пути. Алексей Яковлевич Каплер, сценарист и прозаик, учитель и наставник многих творцов советского кино (вы должны его помнить хотя бы по фильмам «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году»), был безоговорочно и во всем красивым человеком. Однажды я сказал Юле: «Он стянул с тебя солдатские сапоги и переобулся в хрустальные туфельки»; она, смеясь, подтвердила. Он умер, если судить по возрасту, в годах почти преклонных, но постареть ему до самого конца так и не удалось. Многие стихи и поступки Юлии Друниной как бы хранят отблеск яркой личности Алексея Каплера, знавшего славу и воркутинскую опалу, взлеты и неудачи, но всегда идущего прямой дорогой совести рядом с другом и женой.

Поклонимся его памяти.

Однажды я читал стихи где-то на Тюменском севере. В нашей бригаде писателей значилась и Юлия Друнина, но она из Тюмени повернула на юг, в Заводоуковск, навестить могилу отца.

Слушали меня молодые ребята, рабочие-нефтяники. И попросили прочитать хоть одно стихотворение Друниной, если что-то помню наизусть.

— Зачем? — спросил я. — Это же не про вас.

— Как не про нас? — возмутился рыжеволосый парень. — Вот именно что про нас.

К счастью, многие стихотворения Юли накрепко сидят в моей памяти. Я прочитал примерно десяток под мощные и благодарные аплодисменты.

В чем же секрет популярности поэта? Она никак не подкреплена восторженной критикой и безотказно действующей рекламой телеэкрана. Никаких формальных новаций, изысков ловкого ума вы у Друниной не найдете. Зачастую явственна публицистическая нота, а читатель давно приобрел иммунитет к прямолинейной речи. Опять же стихи «про войну» поднадоели,

хотя, скажем к слову, у поэта множество строк, никак не относящихся к войне. Но генеральная линия объявлена в стихотворении 1978 года:

*Я порою себя ощущаю связаной  
Между теми, кто жив  
И кто отнят войной.*

А. Т. Твардовский любил говорить, что многие стихотворцы знают лишь «малые секреты» поэзии. Стало быть, есть еще и большие секреты. Один из них — быть может, главный — определил М. А. Светлов, сказавший: «Стихи должны быть инфекционными». Ну хорошо, Светлову это удалось, а что делать нам, грешным? Как добиться, чтобы стихи брали читателя за сердце?

Наверно, необходимы две вещи: талант и твое личное сопереживание во всей жизни, во всем многообразии бытия и существования народа. Если пользоваться фронтовыми терминами — поэт должен быть на передовой без права ухода или демобилизации.

Говоря о другом поэте, Юлия Друнина сказала, как мне кажется, и о себе:

*Твой голос — тихий, как сердцебиенье.  
В нем чувствуется школа поколенья,  
Науку скромности прошедших на войне —  
Тех, что свою «карьеру» начинали  
В сырой землянке — не в концертном зале,  
И не в огне реклам — в другом огне...*

Есть поэты — трибуны: я им аплодирую, порой завидую. Есть мастера, умеющие работать на редкость изящно; в давние года вся ныне «художественная» называлась изящной литературой. Но мне как-то дороже друг, душевный и надежный собеседник, который запросто приходит ко мне, и оба мы беседуем, как говорят в Одессе, за жизнь. Он говорит о том, что его больше всего волнует, но как-то угадывает и то, что тревожит меня, у нас происходит какое-то взаимопроникновение. Я приведу сейчас стихотворение, где Юлия Друнина обращается к любимому, но оно вполне могло быть адресовано и просто другу-читателю. Замечу, кстати, что при интонации вроде бы покорной, женской тут проглядывается и солдатский характер поэта:

*Я тебе примерно по плечу —  
И в прямом, и в переносном смысле.  
Наклонись, погладить я хочу  
Волосы, что надо лбом нависли.*

*Вот стоишь ты, голову склоняя  
(Так к земле склоняются знамена),  
И хоть во сто раз сильней меня,  
Кажешься сейчас незащищенным...*

Надо, необходимо сию же минуту защитить! Вот в чем все дело. На войне надо было защищать Отечество, если не всю планету. Сегодня поэт воюет, обороняется, наступает — за человека! Ведь сколько напастей: угроза атомной гибели, скользкая петля в руках бюрократа и карьериста, людское разобщение и невнимание к ближнему, да и просто забвение... Так или иначе, обо всем этом сказано в стихах Друниной — впрямую, строкой, намеком. Ведь и фронт все помнится ей не боевыми эпизодами, а примером братства, высокой, огнем испытанной дружбой — отсюда «инфекционность» стихотворений, формально могущих числиться по департаменту военной поэзии.